

У всех путешествий есть тайное назначение,
о котором путешественник не подозревает.

Мартин Бубер

Розали любила синий цвет. Так было с тех пор, как она себя помнила, а значит, вот уже двадцать восемь лет.

Как всегда по утрам, открывая в одиннадцать часов свой магазинчик, в котором продавались открытки, она посмотрела на небо в надежде найти среди серой пасмурной пелены голубой просвет. Нашла его и улыбнулась.

Среди первых и самых любимых детских воспоминаний Розали Лоран было невероятно синее небо над озаренным солнцем бескрайним бирюзовым морем, уходящим за горизонт. Тогда ей было четыре года, и родители, взяв с собой маленькую дочку, уехали из пышущего зноем Парижа с его каменными домами и улицами на Лазурный Берег. В тот же год, когда случилось это сияющее лето, которому, казалось, никогда не будет конца, тетя Полетта подарила ей после возвращения из Лез-Иссамбра набор акварельных красок. Розали во всех подробностях помнила, как это было.

— Акварельные краски? Не слишком ли это, Полетта? — спросила Катрин. В ее тоненьком голоске заметны были неодобрительные нотки. — Такой маленькой девочке — и такой дорогой набор!

Куда ей столько красок, она же не сумеет ими пользоваться! Спрячем-ка его и подождем немного, пока она подрастет. Да, Розали?

Но малютка с длинными каштановыми косами не согласилась расставаться с тетушкиным роскошным подарком. Она ничего не желала слушать и отчаянно прижимала к себе коробку, словно та ей дороже жизни. В конце концов мама немного рассерженно вздохнула и не стала спорить с маленькой упрямницей.

Что уж тут было причиной — то ли первая встреча с морем запала ей в душу как образ счастья, то ли в ней рано проявилось ярко выраженное стремление делать все по-своему, не так, как другие, но только синяя краска стала для нее самой восхитительной из всех. С ненасытным интересом она открывала для себя всю палитру ее оттенков, и ничто не могло утолить ее детскую любознательность.

— А это как называется, папа? — то и дело спрашивала она, дергая за рукав куртки (конечно же, синей) доброго и терпеливого отца, и тыкала при этом пальчиком туда, где обнаруживалось еще что-то синее.

Задумчиво наморщив лоб, она часами простаивала перед зеркалом, изучая цвет своих глаз, которые на первый взгляд казались карими, но, хорошенько приглядевшись, можно было заметить, что на самом деле они темно-темно-синего цвета. Во всяком случае, так сказал Эмиль, ее папа, и Розали на это с облегчением кивнула.

Еще не выучившись толком читать и писать, она уже знала названия всех оттенков синего и го-

лубого. От нежнейшего шелковисто-голубоватого, небесно-голубого, серо-голубого, льдисто-голубого, сизого или стеклянно-аквамаринового, от которого душа взлетает, как на крыльях, до того ярко-го, насыщенного, сочного, сияющего лазурно-синего цвета, от которого захватывает дух. Кроме того, были еще ликующий ультрамарин, веселый васильковый цвет и холодноватый кобальт, сине-зеленый петроль, впитавший в себя краски моря, и таинственный цвет индиго, почти переходящий в фиолетовый, а также темный сапфир с его полупрозрачной синевой и переходящая в черноту синевя ноча, в которой она растворяется почти без остатка. Для Розали не существовало другого цвета, который был бы так же богат и разнообразен, как синий. Однако она не подозревала, что однажды попадет в историю, в которой важную роль будет играть синий тигр. И тем более она не могла бы предположить, что эта история — и скрытая в ней тайна — совершенно перевернет всю ее жизнь.

Случайность? Судьба? Говорят, что детство — это та почва, по которой мы проходим наш жизненный путь. Впоследствии Розали не раз спрашивала себя, не сложилось ли бы все иначе, если бы не ее особенная любовь к синему цвету. При одной мысли о том, как легко могло случиться, что она пропустила бы самый счастливый момент своей жизни, ей даже становилось страшно. Жизнь так сложна и запутанна, но в конце концов она все расставляет по местам, неожиданно выявляя истинный смысл вещей.

Когда Розали в восемнадцать лет — спустя несколько месяцев после смерти отца, скончавшегося

от запущенной пневмонии, — объявила, что хочет учиться живописи и стать художницей, ее мать с перепугу чуть не выронила блюдо с лотарингским пирогом на пороге столовой.

— Ради бога, девочка! Лучше уж выбери что-нибудь дельное! — воскликнула она, мысленно ругая Полетту за то, что та внушила дочке такие дурацкие фантазии. Вслух она, конечно, никогда не ругалась. Катрин Лоран, урожденная Валуа (чем она в душе очень гордилась), была благородной дамой до кончиков ногтей. К сожалению, богатство ее аристократических предков за истекшие века заметно поубавилось, и брак с хорошим и умным, но не слишком энергичным в житейских делах физиком Эмилем Лораном не исправил ситуации. Вместо того чтобы делать успешную карьеру в какой-нибудь фирме, Эмиль, однажды поступив на работу в научный институт, так и проработал там до конца своих дней. У Катрин даже не было денег, чтобы держать настоящую прислугу, а пришлось довольствоваться приходящей филиппинкой, которая еле-еле объяснялась по-французски и которая дважды в неделю вытирала пыль, наводила чистоту в большой квартире дома старой постройки, с высокими лепными потолками и паркетными полами елочкой. При этом для Катрин не подлежало сомнению, что ни при каких обстоятельствах нельзя отказываться от своих принципов. Она считала, что если нарушить принципы, тогда вообще все пойдет прахом.

«Урожденные Валуа так не делают», — любила она повторять, и, разумеется, произнесла эту фразу и сегодня в напутствие единственной дочери,

которая, как это ни грустно, вознамерилась, кажется, выбрать не тот путь, который для нее наметила мать.

Катрин со вздохом поставила фарфоровое блюдо с ароматным пирогом на овальный обеденный стол, накрытый только на две персоны, и уже в который раз подумала, что, пожалуй, не сможет назвать никого, кому имя Розали подходило бы так мало, как ее дочери.

В те давние времена, когда Катрин была ею беременна, ее воображение рисовало ей нежную, хрупкую девочку, такую же белокурую, как она сама, вежливую, кроткую и... — ну как бы это сказать — умильную. Все это никак нельзя было отнести к Розали. Она, конечно, была умненькой, но очень уж своенравной. У нее на все было свое мнение, иногда от нее часами не добиться было ни слова, и такое поведение казалось матери очень странным. Когда Розали смеялась, то всегда очень громко. Это было как-то не очень прилично, хотя окружающие и уверяли, что Розали всех радует своей живой непосредственностью.

— Да не придирайся ты к ней, у нее доброе сердце, — всегда говорил ей Эмиль, в очередной раз потакая прихотям дочери.

Как, например, тогда, когда она еще ребенком вытащила свой матрас и дорогое постельное белье на балкон, где такая сырость, и легла там спать под открытым небом. Ей, видите ли, «захотелось посмотреть, как вертится Земля!» Или вдруг испекла отцу на день рождения этот кошмарный синий пирог, покрашенный пищевым красителем! Вид

у пирога был такой ядовитый, что, кажется, в рот возьми и отравишься! А все из-за того, что голубой цвет — ее любимый! Катрин сочла это дикой выходкой, а Эмиль, конечно же, был в восторге и говорил, что лучшего пирога в жизни не пробовал. «Вы непременно должны его отведать!» — восклицал он, накладывая гостям расплывающееся месиво на тарелки. Ох уж этот Эмиль! Ну ни в чем не мог отказать своей доченьке!

И вот нате — новая идея!

Катрин нахмурилась и посмотрела на стройную рослую девушку с бледным лицом и черными бровями, которая рассеянно поигрывала длинной, каштановой, небрежно заплетенной косой.

— Выкинь это из головы, Розали! Живопись тебя не прокормит. Такие затеи я не хочу и не буду поддерживать. А на что ты, скажи на милость, собираешься жить? Думаешь, люди только и ждут твоих картин?

Розали промолчала, продолжая теревить свою косу.

Была бы Розали «умилительной Розали», Катрин Лоран, урожденная Валуа, конечно, не тревожилась бы за ее будущее. В конце концов, в Париже и сейчас хватает хорошо зарабатывающих мужчин, и тут уж не важно, если жена понемножку рисует: мало ли какие там у нее пунктики! Но у Катрин было неприятное чувство, что дочь об этом как-то не думает. Чего доброго, еще бог весть с кем свяжется!

— Я хочу, чтобы ты занялась чем-нибудь дельным, — настойчиво повторила она еще раз. — Папа тоже этого бы хотел.

Она положила дочери на тарелку кусок пирога.

— Розали! Ты вообще слушаешь, что я говорю?

Розали подняла голову и посмотрела на мать бездонными загадочными глазами.

— Да, мама. Я должна заняться чем-то дельным.

И она так и поступила. Более или менее так. Самое разумное, что придумала Розали, — это после двух семестров графики и дизайна открыть магазин, торгующий открытками. Это была крохотная лавочка на улице дю-Драгон, симпатичной улочке со средневековыми городскими домами в самом сердце района Сен-Жермен, от лавочки было рукой подать до церквей Сен-Жермен-де-Пре и Сен-Сюльпис. На улочке было несколько магазинчиков, ресторанов, кафе, одна гостиница, булочная и любимый обувной магазин Розали, и на ней даже жил Виктор Гюго, о чем сообщала табличка на доме номер тридцать. Если поспешить, то всю улицу дю-Драгон можно пробежать из конца в конец за несколько шагов, чтобы затем очутиться на оживленном бульваре Сен-Жермен, или, если пойти в обратном направлении, выйти на более тихую улицу де-Гренель, которая ведет к самым элегантным домам и особнякам правительственного квартала, заканчиваясь где-то в районе Марсова поля и возле Эйфелевой башни. Но можно было и просто неторопливо прогуляться по этой улице, то и дело задерживаясь перед витринами, в которых ты всегда увидишь что-нибудь заманчивое, что хочется рассмотреть, подержать в руках

или примерить. Во время такой прогулки Розали и обнаружила однажды вывеску «Сдается внаем» в витрине пустующего антикварного магазина, владелица которого недавно отказалась от аренды, закрыв магазин по причине своего преклонного возраста.

Розали сразу же влюбилась в этот магазинчик. Единственная витрина была окружена небесно-голубой рамкой, как и входная дверь, над которой после прежней владелицы остался висеть старомодный серебряный колокольчик. На старинном черно-белом каменном полу играли солнечные зайчики. Над Парижем в этот майский день стояло безоблачное небо, и Розали показалось, что маленький магазинчик только и ждал ее прихода.

Арендная плата, правда, оказалась совсем не маленькой, но запрашиваемая цена, пожалуй, была оправданной ввиду удачного расположения, как заверил ее мсье Пикар, пузатенький пожилой человек с большими залысынами и хитроватыми карими глазками-пуговками. Вдобавок к торговому помещению имелась еще и жилая комната над лавкой, куда можно было подняться по узкой деревянной винтовой лестнице, а при ней малюсенькая ванная и кухонька.

— Вот вам заодно и жилье, ха-ха-ха! — пошутил мсье Пикар, и его пузо весело затряслось от смеха. — А какой именно магазин вы, собственно, собираетесь тут открыть, мадемуазель? Надеюсь, ничего особенно шумного или пахучего? А то ведь я и сам живу в этом доме.

— Писчебумажный, — сказала ему Розали. — С оберточной бумагой для подарков, почтовой бу-

магой, карандашами и красивыми открытками к разным торжественным случаям.

— А-а... Ну-ну! Что ж, желаю удачи! — проговорил мсье Пикар немного растерянно. — Открытки с Эйфелевой башней всегда находят спрос у туристов, верно?

— Торговля *почтовыми открытками*? — удивленно воскликнула по телефону ее мать. — *Mop Dieu!*¹ Бедная моя доченька! Да кто же в наши дни еще посылает открытки?

— Хотя бы я, — ответила Розали, а затем просто взяла и положила трубку.

Прошло четыре недели, и вот уже она, взобравшись на лестницу, повесила над входом живописную вывеску.

«Луна-Луна», — было написано на ней большими красивыми буквами, а ниже уже помельче: «Открытки с пожеланиями».

¹ Боже мой! (*фр.*)

2

Если бы это зависело от Розали, то она сделала бы так, чтобы люди гораздо чаще писали письма и отправляли открытки. Маленькая, а порой и большая радость, которую способно дать написанное от руки письмо, как у получателя, так и у того, кто его пишет, совершенно не сравнима с той, какую приносят сообщения по электронной почте или эсмэски, которые быстро забываются, канув в пучину ничего не значащих мелочей. Этот момент удивления, когда ты вдруг обнаруживаешь среди почты лично к тебе обращенное письмо, радостное ожидание, с которым ты переворачиваешь открытку, осторожно вскрываешь или нетерпеливо разрываешь конверт! Возможность прикоснуться рукой к тому, что принадлежит человеку, который вспомнил тебя; разглядывать его почерк, угадывать настроение; может быть, даже уловить легкий запах табака или духов! Это же что-то такое живое! И пускай люди действительно гораздо реже пишут сегодня настоящие письма, потому что у них якобы не хватает на это времени, но Розали не знала ни одного человека, который бы не обрадовался, получив личное письмо или написанную от руки открытку. Нашему времени, со всеми его

социальными сетями и возможностями цифровой техники, не хватает шарма, думала Розали. При всей его эффективности, практичности и скорости шарма ему все же недостает.

Раньше, конечно, проверка почтового ящика была делом куда более интересным, размышляла она, остановившись в подъезде перед почтовыми ящиками. Единственное, что ты сейчас в них находишь, — это, как правило, счета, бланки налоговых деклараций и рекламные листки и буклеты.

Или извещения о повышении арендной платы.

Розали с досадой смотрела на такое извещение от своего арендодателя. Третье за пять лет повышение арендной платы. Она так и знала! В последние недели мсье Пикар, встречаясь с ней в подъезде, вел себя как-то особенно вежливо и приветливо. А на прощание всегда глубоко вздыхал и жаловался, что жизнь в Париже все дорожает и дорожает.

— Вы представляете, сколько уже стоит багет, мадемуазель Лоран? А сколько эти булочки дерут за круассан? Не поверите! Спрашивается, что там есть в этих круассанах — вода да мука, и только, разве не так?

Он пожимал плечами и смотрел на Розали с выражением, в котором смешались возмущение и отчаяние, затем, не дожидаясь ответа, плелся своей дорогой.

Розали удалилась к себе в магазин, выразительно возведя глаза к небу. Еще бы ей не знать, сколько стоят круассаны! Да она сама каждое утро покупала по круассану, к великому неудовольствию Рене.

Рене Жубер был высокий темноволосый мужчина, ярый приверженец здорового образа жизни и заядлый спортсмен. Уже три года он был ее близким другом, а работал персональным тренером. Возможно, молча вздыхала иногда Розали, в первую очередь он был тренером. Рене Жубер очень серьезно относился к своей профессии. В основном он занимался с хорошо обеспеченными дамами из высших слоев парижского общества, которые старательно следили за своей фигурой, своим физическим состоянием и здоровьем, пользуясь для этого услугами специально обученного специалиста с ласковыми карими глазами и тренированным телом. У него всегда было плотное рабочее расписание, но, похоже, его энергичная натура требовала более широкого поля деятельности, чем мог ему предоставить высший свет Парижа. По крайней мере, он никогда не упускал возможности приучить Розали к здоровому и более подвижному образу жизни (*Mens sana in corpore sano!*¹) и разъяснить ей, сколько проблем таит в себе прием пищи. В списке смертельных опасностей у него на одном из первых мест значились столь любимые ею круассаны («Пшеничная мука — для кишечника яд! Ты никогда не слыхала про пшеничный живот? Ты хоть представляешь себе, сколько от нее жира?»).

У Розали были свои представления о счастливой жизни (и такая жизнь не включала усиленных физических нагрузок, мюслей и соевых напитков),

¹ В здоровом теле — здоровый дух! (лат.)

поэтому на нее эти уговоры не действовали и все миссионерские потуги друга обратить ее в свою веру потерпели полное фиаско. Розали никак не могла взять в толк, с какой стати она должна есть «цельные зерна». «Зерно — это корм для скота. Я же не корова», — говорила она, намазывая на разрезанный круассан толстый слой масла и джема и преспокойно принимаясь его уплетать.

Рене глядел на это с гримасой ужаса на лице.

— А к чашке кофе с молоком нет ничего вкуснее круассана или свежего багета, — продолжала она, сметая со скатерти рассыпанные крошки. — Этого и ты не можешь не признать.

— Тогда откажись хотя бы от кофе с молоком, ведь с утра гораздо полезнее выпить смузи из киви с листьями шпината, — возражал на это Рене, и Розали чуть не давилась от смеха круассаном. Надо же было сказать такую неслыханную чепуху! Утро без кофе — это же вообще как... Розали попыталась подыскать подходящее сравнение, но так ничего и не придумала. Это просто невообразимо, закончила она про себя.

В самом начале, когда они с Рене только что познакомились, она как-то раз дала себя уговорить и отправилась с ним ни свет ни заря на утреннюю пробежку в Люксембургском саду.

— Вот увидишь, как это здорово, — сказал Рене. — Утренний Париж — это совершенно другой город!

В этом он, наверное, был прав, но ей был гораздо милее старый Париж с его привычным укладом, когда ты поздно ложишься, потому что вечером рисуешь, читаешь, беседуешь за бокалом вина,

а утро начинаешь с большой чашки кофе с молоком, которую выпиваешь не вставая с постели. И вот, слушая Рене, который легкими прыжками, как газель, бежал бок о бок с нею под кронами каштанов, стараясь вовлечь ее в легкую беседу («во время бега следует поддерживать такую скорость, при которой еще возможно разговаривать»), она вдруг почувствовала, что уже выдохлась, и остановилась оттого, что у нее закололо в боку.

— Ничего, ничего! Лиха беда начало, — ободрил ее тренер. — Держись, не сдавайся!

Как все влюбленные, Розали поначалу тоже очень старалась войти в симбиоз со своим партнером, слиться с ним, переняв его увлечения, и, повинаясь его настоятельным уговорам, предприняла еще одну попытку (правда, уже в одиночестве и не в шесть часов утра), но, после того как ее резво обогнал столетний старикашка, который шагал, вытянув шею и размахивая руками, она окончательно забросила мысль о занятиях спортом.

— С меня, пожалуй, довольно прогулок с Уильямом Моррисом, — со смехом объявила Розали.

— Уильям Моррис? А это кто такой? Мне есть из-за чего ревновать? — озабоченно спросил Рене (он тогда еще не успел побывать в лавке у Розали и слыхом не слыхивал о художнике Уильяме Моррисе. Но это было простительно, ведь и она не знала названий всех костей и мускулов человеческого тела).

Она чмокнула Рене в щеку и объяснила, что Уильям Моррис — это ее собачка, которую она — как-никак владелица писчебумажного магазина —

назвала так в честь легендарного художника и архитектора времен королевы Виктории за то, что этот художник среди прочего делал рисунки для обоев и тканей.

Песик Уильям Моррис был очень добродушным терьерчиком тибетской породы — лхаса апсо, и сейчас ему было почти столько же лет, сколько и открыточной лавке. Днем он мирно спал в корзинке у порога, а ночью в кухне на подстилке и во сне иногда дергал лапами, так что слышно было, как они стучат в закрытую дверь. Как объяснил ей работник приюта для бездомных собак, эта мелкая порода отличалась самым миролюбивым нравом, потому что раньше эти собачки сопровождали в странствиях молчаливых тибетских монахов.

Тибетское происхождение песика произвело на Рене приятное впечатление, а когда он впервые пришел к Розали в лавку, Уильям Моррис при встрече с рослым широкоплечим незнакомцем приветливо помахал ему хвостом. Ну что сказать... Квартирой эту комнатку над лавкой вряд ли можно было назвать, в ней едва помещались кровать, кресло, шкаф да большой чертежный стол у окна. Но комнатка выглядела очень уютно, а самое замечательное Розали обнаружила уже после того, как в ней поселилась. Через второе узкое окно в задней стене дома можно было выйти на плоскую крышу между двумя зданиями, которая летом стала служить Розали вместо террасы. Старые каменные вазоны с растениями и пара ветхих шпалер, которые летом покрывались плетями цветущих голубых клематисов, почти полностью закрывали этот уютный уголок от посторонних глаз.

Здесь-то, под открытым небом, Розали и накрыла стол к первому появлению Рене в ее лавке. Она не была выдающейся поварихой, карандашом и кистью Розали владела гораздо лучше, чем поварешкой, но на хромоногом столике, накрытом белой скатертью, горели разнокалиберные фонарики, красовались бутылка красного вина, гусиный паштет, ветчина, виноград, шоколадный торт, консервированные половинки авокадо в масле, соленое масло, камамбер, козий сыр и ко всему этому — багет.

— О господи! — вздохнул с комическим отчаянием Рене. — Столько всего вредного для здоровья! Сплошной перебор! В конце концов ты доиграешься! Однажды твой организм не выдержит и ты окончательно разрушишь свой обмен веществ, тогда ты станешь такой же толстухой, как моя тетя Гортензия.

Розали поднесла к губам бокал с красным вином, как следует отхлебнула, отерла губы и, строго указывая перстом, сказала:

— Ошибаешься, мой милый! Столько всего *вкусного!*

Затем она встала и одним движением скинула платье.

— Ну как, разве же я толстуха? — спросила она и полуобнаженная, с развевающимися волосами прошла перед ним по террасе танцующей походкой.

Рене торопливо отставил свой бокал.

— Ну погоди!.. — воскликнул он, бросаясь за ней.

Они так и остались на крыше и пролежали на шерстяном одеяле, пока их не прогнала утренняя роса.

Сейчас, остановившись в темноватом подъезде, где всегда витал апельсиновый аромат моющего средства, Розали, запирая почтовый ящик, с неопределенной тоской вспоминала ту первую ночь на крыше. В последовавшие затем три года различия между ней и Рене становились все заметнее. И если раньше она старалась отыскать и отмечала что-то общее, то теперь ясно видела все, что их разделяет.

Розали любила завтракать в постели, Рене не видел ничего хорошего в том, чтобы «сорить в постели крошками». Она была совой, он — жаворонком; ей нравились спокойные прогулки с собачкой, он в этом году купил себе спортивный велосипед, чтобы гонять с ветерком по улицам и паркам Парижа. Что касается путешествий, то его все тянуло куда-то вдаль, Розали же с удовольствием готова была, не замечая времени, часами сидеть на какой-нибудь маленькой площади, каких много встречается в южных европейских городках.

Больше всего ее огорчало, что Рене не писал ей писем и открыток даже на день рождения. «Так я же вот он — здесь», — говорил он, когда она за завтраком напрасно высматривала на столе поздравительную открытку. Или же, уезжая на очередной семинар: «Можно ведь связаться по телефону».

Поначалу Розали писала ему самодельные открытки и записки на день рождения, или когда он

неделю пролежал в больнице со сломанной ногой, или просто когда уходила по делам, или когда поздно ложилась спать и заставляла его уже уснувшим в кровати. «Ау, ранняя пташка, не шуми и дай своей совушке еще немного поспать, вчера я проработала допоздна», — писала она и оставляла листок с запиской, на котором была нарисована сидящая на кисточке сова, рядом с кроватью.

Она повсюду рассовывала для него свои весточки — оставляла за зеркалом, на подушке, на столе, в кроссовках или в боковом кармашке портфеля, а теперь сама уже не могла вспомнить, когда она перестала это делать.

К счастью, у каждого была своя квартира, и оба обладали известной терпимостью, и Рене был очень позитивным по характеру человеком, он любил жизнь как она есть и совершенно не интересовался ее темными глубинами. Он казался Розали таким же миролюбивым, как ее апсо. И если им все-таки доводилось поспорить (из-за мелочей), то в постели все разногласия и недоразумения утихали сами собой и улетучивались в умиротворяющей тишине ночи.

Когда Розали случалось ночевать у Рене, что бывало нечасто, так как она не любила надолго оставлять без присмотра свою лавочку, а он жил в районе Бастилии, то она в угоду ему соглашалась съесть ложку-другую старательно приготовленной им каши-размазни, сдобренной сухофруктами и орехами, которой он от души ее потчевал, заверяя, что когда-нибудь она ее распробует и ей понравится.